ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТИ

УДК 94:159.953 + 316.346.36 + 129

Штефан Бергер
Рурский университет в Бохуме, г. Бохум, Германия
E-mail: stefan.berger@ruhr-uni-bochum.de

Идеи в истории, философии и религии: исторические науки и активизация памяти в XX в.

Цель статьи — обсудить роль общественных наук, в частности истории, в дискурсе памяти и государственной политике. Статья состоит из 6 глав: Первая мировая война, Вторая мировая война и Холокост, гражданские войны, деколонизация и класс, раса и гендер в условиях деиндустриализации, каждая из которых обсуждает конкретную мемориальную повестку и роль историков в ее формулировании. Используя метод кейс-стади, автор делает вывод о том, как страны с различной культурой и позицией в международных отношениях справляются с существующей исторической перспективой и изменяют их для своих политических целей. Автор также упоминает об изменении самой науки о памяти, заявляя, что с переходом от XX века к веку XXI политика памяти изменила фокус с изучения национальной истории на изучение отношений между государствами или даже на анализ транснациональных мемориальных явлений. В целом, заключает автор, роль историков в прошлом веке возросла, поскольку они стали одним из самых влиятельных социальных акторов, влияющих на коллективный дискурс памяти.

Ключевые слова: коллективная память, деиндустриализация, история, политика, коммеморация, философия, религия

Для цитирования: *Бергер Ш.* Идеи в истории, философии и религии: исторические науки и активизация памяти в XX веке // Tempus et Memoria. 2020. Т. 1. № 1–2. С. 8–24.

Поступила в редакцию: 30.10.2020
Принята к печати: 02.12.2020

© Бергер Ш., 2020

Stefan Berger
Ruhr University Bochum, Bochum, Germany

Ideas in History, Philosophy and Religion: the Historical Sciences and Memory Activism in the Twentieth-Century

The article aims to discuss the role of social sciences and, in particular, history in the memory discourse and the politics of the country. The article is comprised of 6 chapters: First World War, Second World War and the Holocaust, Civil Wars, Decolonization and class, race and gender in deindustrialization, each of them discussing a specific memory agenda and the role of historians in formulating it. By using the case study method and methods of historical analysis, authors draw conclusions on how countries with different culture and roles in international events cope with existing historical perspective and alter them for their policy goals. The authors also mention the change in the memory science itself, stating that, with the transition from the 20th century to 21, the memory politics changed focus from studying national history to studying relations between them or even transnational memory phenomena. All in all, the authors conclude, that the role of historians increased during the last century as they became one of the most influential actors among many who influence the social discourse and collective memory.

Key words: collective memory, deindustrialization, history, politics, commemoration, philosophy, religion

For citation: Berger, S. (2020). Ideas in History, Philosophy and Religion: the Historical Sciences and Memory Activism in the Twentieth-Century. *Tempus et Memoria*, *1*, 1–2, 8–24.

Submitted: 30.10.2020
Accepted: 02.12.2020

Введение

Взаимосвязь между идеями и памятью диалектична: идеи обрамляют память, а из памяти рождаются идеи. В этой статье мы проанализируем деятельность специалистов, работающих в сфере исторических наук, главным образом в самой истории, но также и в дисциплинах, которые имеют историческую направленность, таких как социология, политология, философия и религиоведение.

Поскольку моя собственная научная деятельность в основном посвящена историографии истории и истории общественных движений, в этой статье особенно пристальное внимание будет уделено историкам как активистам памяти. Следует добавить, что когда я далее в своей работе буду упоминать исторические науки, то буду подразумевать под этим не только деятельность профессиональных историков или представителей смежных академических дисциплин. Важно принимать во внимание более широкий контекст, в котором непрофессиональные историки, работающие в качестве публицистов, журналистов, или люди, занимающиеся так называемой «историей снизу», изучающие исторический процесс с точки зрения простых людей, могут иметь значительное влияние. Исторические науки в таком широком понимании, как утверждает Вульф Канстайнер, являются одним из влиятельных мемориальных сообществ [44, *123*]. В традиции Мориса Хальбвакса, который оказал влияние на Пьера Нора и целый ряд других историков памяти, следовавших уже за Нора, исторические науки рассматривались как зеркально противоположные по отношению к коллективной памяти, конфликтующие с ней или корректирующие ее [31, 65]. Однако, как показал Крис Лоренц, подобному ожиданию они не всегда могут соответствовать [53]. Исторические науки остаются глубоко вовлеченными в производство памяти и, как мы увидим далее, в некоторых случаях сильно влияют на то, какой именно тип коллективной памяти формируется в публичной сфере. Научная деятельность и конструирование памяти являются тесно связанными процессами.

В своей работе я выбрал шесть объемных тем, демонстрирующих влияние исторической науки на широкий мемориальный ландшафт. Это две мировые войны и Холокост, гражданские войны, революции, деколонизация в контексте холодной войны и деиндустриализация,

с которой тесно связаны проблемы класса, расы и гендера. Ни одна из культур памяти, связанных со знаниями, генерируемыми историческими науками, не может быть подробно исследована в такой короткой обзорной главе. Однако я надеюсь, что мне удастся продемонстрировать плодотворность совместного изучения исторических наук и публичных дискуссий по вопросам памяти, а также побудить других исследователей к более активной работе в этом направлении.

Исторические науки и память о Первой мировой войне

Первая мировая война часто рассматривается представителями исторических наук как *Urkatastrophe* (первичная катастрофа) XX в. В дискурсе памяти она становится началом столетия, вся первая половина которого отличалась катастрофичностью. Короткий XX в., длившийся с 1914 г. до окончания холодной войны (1989–1992), стал мощным каркасом памяти для интерпретации последнего столетия [39]. В войнах памяти по поводу Первой мировой войны, которые начались после того, как была выпущена последняя пуля, исторические науки сыграли решающую роль. Центральное место в обсуждениях занимал вопрос о вине за начало войны, поскольку Версальский мирный договор навязал Германии суровое мирное урегулирование, мотивируя это ее единоличной виной в развязывании конфликта в 1914 г. (статья 231) [59]. В межвоенный период немецкие политики и широкая общественность оспаривали подобную память о произошедшем в августе 1914 г. — не в последнюю очередь путем мобилизации архивов в качестве институциональных хранилищ памяти. Те, кто подвергся обвинениям, и те, кто проиграл войну, представили самые впечатляющие архивные доказательства, опровергающие идею о том, что в развязывании войны в 1914 г. виноваты только они. Исторические науки сыграли важную роль в этом процессе. Историки соглашались работать на Министерство иностранных дел Германии, чтобы помочь в выпуске сорока томов документов, а также высказывали свою позицию в научных публикациях и в статьях, рассчитанных на широкую национальную и международную аудиторию. Они способствовали активизации памяти с одной-единственной целью — помочь Германии в борьбе с Версальским договором, доказав ошибочность его основного обвинения [40].

Западные союзники отреагировали на этот вызов слишком поздно: британские и французские документальные проекты выглядели слишком слабыми в сравнении с германскими аналогами, хотя в этих странах исторические науки также бросились на помощь своим правительствам, чтобы разработать интерпретации прошлого, подкрепляющие идею о единоличной вине Германии в развязывании войны. Дебаты на тему памяти о начале Первой мировой войны имели, с одной стороны, сильную национальную направленность. Они разыгрывались перед национальной аудиторией, историки обращались именно к ней в своих трудах. С другой стороны, дебаты также имели транснациональный характер: британские и американские историки поддерживали тесную связь друг с другом при издании своих серий документов об этом периоде, чтобы избежать публикации сведений, которые могли бы поставить в неловкое положение одну из стран. Немецкие же историки сотрудничали с советскими коллегами в надежде, что в российских архивах найдутся убедительные аргументы в пользу их интерпретации событий августа 1914 г. Кроме того, осуществлялись попытки заключить двусторонние соглашения о предоставлении доступа к «зарубежным» архивам [90]. В конечном счете активизация немецких исторических наук в области сохранения памяти способствовала проведению политики умиротворения в 1930-е гг., поскольку британские политики и другие западные государственные деятели стали полагать, что к Германии действительно относились несправедливо по итогам Первой мировой войны [95].

Активизация памяти о Первой мировой войне благодаря исторической науке продолжилась в 1960-х гг., когда публикации немецкого историка Фритца Фишера по поводу начала Первой мировой войны вызвали большую дискуссию. В них исследователь утверждал, что в годы, предшествовавшие войне, германская немецкая элита действительно планировала ее и готовилась к ней. И в довершение он выдвинул предположение о том, что Первая и Вторая мировые войны были продолжением

империалистических стремлений к мировому господству, которых Германия придерживалась с эпохи Вильгельма и до 1945 г. В Германии большинство либерально-консервативных историков активно выступили против Фишера, в то время как группа молодых леволиберальных историков оказалась среди самых ярых его сторонников [61]. Министерство иностранных дел Германии даже отказалось финансировать лекционный тур Фишера по США, однако американские университеты вмешались в эту ситуацию и сами выделили средства на триумфальное турне немецкого профессора. Трансатлантическая поддержка Фишера была значительной и очень влиятельной. Немецкие историки, которые были изгнаны национал-социалистами и которым удалось сделать карьеру в Северной Америке, не только интеллектуально проложили путь для Фишера, но и стали его наиболее убежденными сторонниками [79].

Полемика вокруг работ Фишера была настолько интенсивной, возможно, не только потому, что была связана с памятью о начале Первой мировой войны, но и потому, что она касалась переосмысления господствовавшего исторического нарратива и национальной коллективной памяти в Германии. Даже после Второй мировой войны в среде немецкой исторической науки доминировало мнение о том, что национал-социализм берет свое начало в общем процессе развития западного массового общества и итальянского фашизма, а не коренится в самодельных немецких разработках или движениях. Представлялось, что национал-социалисты были ужасным отклонением от нормы в национальной истории Германии, заслуживающей гордости во всех остальных отношениях. Но в долгих 1960-х гг. молодое поколение немецких историков, менее заинтересованных в политической и теснее связанных с социальной историей, искало в прошлом своей страны ту преемственность, которая могла бы помочь объяснить победу национал-социализма в Германии. Аргументы Фишера удачно перекликались с идеей «Особого пути Германии» (Sonderweg), которая привела к трем крупным катастрофам первой половины столетия: двум мировым войнам и Холокосту. Немецкий мемориальный ландшафт XX в. должен был подвергнуться глубокому влиянию этой исторической интерпретации. Также она должна была доминировать на международном уровне с 1970-х гг. [2].

Данная трактовка событий прошлого периодически подвергалась сомнению в полемике историков в 1986–1987 гг., после воссоединения страны в 1990 г. и затем в 2010-х гг. в связи с ростом популизма со стороны правых сил. В 2012 г. австралийский историк, специалист по Германии и Европе Кристофер Кларк [17] по-новому интерпретировал начало Первой мировой войны. Он утверждал, что все крупные державы действовали практически как лунатики в этой войне. Но если в его истории и был злодей, то это была не Германия, а скорее Сербия, а также некоторые представители австро-венгерских имперских элит. С одной стороны, такая трактовка подверглась критике как ревизионистская, с другой — книга Кларка получила высокую оценку, поскольку при ее подготовке были использованы данные как основных, так и менее известных европейских архивов, чтобы в итоге вернуться к прежней интерпретации начала войны. «Лунатики» конечно же не вызвали столь же острых споров, как работа Фишера пятьюдесятью годами ранее. Почему так случилось? На мой взгляд, во многом это было связано с тем, что в Германии либеральные элиты достигли консенсуса о том, что позитивно акцентированная история Федеративной Республики после 1949 г. была ключевым якорем положительной идентичности новой Германии, тогда как период между 1871 и 1945 гг. рассматривался с большим скептицизмом. Этот консенсус не был нарушен работой Кларка.

А в других местах? Европа и весь мир стали менее зациклены на угрозах, исходящих от Германии, и вместо этого чаще воспринимали эту страну как гаранта европейской стабильности, мира и прав человека, а также как успешную модель экономического развития. Спустя почти семь десятилетий мемориальный ландшафт «мерзких немцев» уступает место мемориальному ландшафту «немцев второго шанса», которые полны решимости сделать все лучше, чем в первой половине XX в. (Фриц Штерн, как известно, утверждал, что немцы, объединившись в 1990 г., получили вторую попытку оказать более благотворное влияние на европейскую и мировую политику, чем в период между 1900 и 1945 гг. [80]). В Великобритании память

о Первой мировой войне вызвала гораздо больше общественных дебатов, чем в Германии, где интерес к Первой мировой войне должен был быть раскрыт исторической наукой к 2014 г. Конфликт между королевским профессором истории в Кембридже Ричардом Дж. Эвансом и тогдашним министром образования Майклом Гоувом в 2014 г. был связан с ролью мемориализации Первой мировой войны в Великобритании. Гоув от имени консервативного правительства намеревался сделать войну центральным элементом школьных учебных программ и выделить средства на то, чтобы каждый британский школьник мог посетить поля Фландрии, где Великобритания якобы защищала свободу Европы. Эванс же выразил сожаление по поводу того, что видел в этом проявление британского джингоизма (шовинистического национализма), имеющего антигерманские и антиевропейские корни [26]. Мемориальный ландшафт английского евроскептицизма пронизан особым взглядом на прошлое, который поддерживается, по общему признанию, небольшим разделом исторической науки [88]. Кроме того, вряд ли какая-либо нация выделяла такие большие средства на проведение памятных мероприятий по случаю годовщины Первой мировой войны, чем Австралия в 2014 г. Это доказывает, что мифы об АНЗАК сегодня все еще находятся в самом сердце австралийской национальной идентичности [82]. Дебаты в Великобритании и активная и яркая коммеморативная деятельность в Австралии свидетельствуют о том, что Первая мировая война по-прежнему играет важную роль в пейзаже памяти XX в. и что исторические науки по-прежнему являются важным его интерпретатором, хотя и в разной степени в разных частях мира.

Исторические науки и память о Второй мировой войне и Холокосте

Война за прекращение всех войн привела к новому, еще более страшному мировому конфликту спустя всего лишь двадцать лет после перемирия в ноябре 1918 г. В 1945 г. большая часть Европы лежала в руинах. Континент был свидетелем трагедии Холокоста, а в Японии атомные бомбы создали угрозу еще более ужасающей войны, чем та, которую они помогли быстрее закончить. Наследие войны оставило множество травм, вокруг которых были построены дискурсы памяти после 1945 г. Исторические науки вновь были широко в них представлены [23, 52, 47]. Как и после Первой мировой войны, дискурсы памяти были сильно выражены на национальном уровне, но в то же время имели транснациональные измерения. В Японии память о жертвах атомных бомб способствовала забвению о преступной деятельности Японии на войне [72]. В Австрии после 1945 г. мы обнаруживаем аналогичную закономерность: воспоминания о первых жертвах гитлеровского экспансионизма в Европе использовались для забывания об австрийской преступной деятельности как неотъемлемом элементе рейха во Второй мировой войне [85].

Действительно, война стала важнейшим вектором памяти во многих европейских странах после 1945 г. [92]. В тех странах, которые были оккупированы гитлеровской коалицией, историческая наука обращалась к деятельности Сопротивления, чтобы внести свой вклад в культуру памяти, которая часто имеет тенденцию забывать о фактах сотрудничества с оккупантами [50, 94]. Даже в Германии историческая наука после 1945 г. сделала акцент на движении Сопротивления как на якобы «хорошей Германии» по сравнению с «плохими» национал-социалистами. Начиная с 1970-х гг. более самокритичный национальный исторический нарратив способствовал формированию в Германии иной культуры памяти, концепция «преодоление прошлого» («Vergangenheitsbewältigung») стала руководящей и в историческом образовании. Она была проникнута просвещенной верой в то, что такое образование создаст сообщество национальной памяти, которое будет невосприимчиво к соблазнам правых антидемократических сил в будущем [45]. Германия часто высоко оценивалась на международном уровне как глобальный образец подобных стараний, в которых исторические науки играли столь заметную роль. Немецкий пример, как правило, контрастирует с примером Японии, где историческая наука не смогла в такой же степени повлиять на культуру общественной памяти, чтобы она работала через прошлое. Ревизионизм вокруг жестоких преступлений, совершенных Японией во время Второй мировой войны, оказался гораздо сильнее, чем в Германии [9]. Поэтому

же в Японии практика празднования юбилеев, связанных с событиями Второй мировой войны, имеет тенденцию быть гораздо более антагонистичной, чем в Европе [93]. Там нет эквивалента европеизации исторической памяти, характерной для Европейского союза [74, *гл. 3*].

Исторические науки не только внесли свой вклад в национальные и транснациональные культуры памяти, связанные со Второй мировой войной, но и проложили путь новым транснациональным институтам, призванным обеспечить более безопасный мировой порядок после 1945 г. Историки попытались заложить основу Организации Объединенных Наций и вместе с философами помогли создать правозащитную традицию, которая должна была стать гарантией безопасности перед будущим коллапсом цивилизации [63]. В Западной Европе исторические науки сыграли важную роль в обеспечении зарождающегося Европейского союза историческим нарративом, который должен был преодолеть национализм, соперничество и насилие первой темной половины века и заменить их сотрудничеством, миром и взаимопониманием [87]. В коммунистической Восточной Европе исторические науки также построили нарратив, который оправдывал строительство социалистических обществ и создавал основу коммунистической культуры памяти, которая опять-таки была глубоко национальной по своей ориентации, но содержала транснациональный элемент [76].

Память о революциях

Воспоминания об интернациональном коммунизме основывались на большевистской революции 1917 г. в России. Действительно, для исторических наук революции часто были основополагающими нарративами, в которые можно включить не только классовые, но и национальные нарративы. Великая французская революция 1789 г., центральноевропейские революции 1848 г., младотурецкая революция 1908 г., иранская конституционная революция 1911 г., синайская революция в том же году в Китае, немецкая революция 1918 г., бархатные революции в Центральной и Восточной Европе 1989 г. — повсюду эти события становились центральным элементом национальных сюжетных линий, написанных историческими науками [22]. Как и память о двух мировых войнах, память о революциях имела, с одной стороны, глубоко национальную траекторию, а с другой — транснациональную. Большевистская революция 1917 г. получила всемирный резонанс: выйдя из сильной революционной марксистской традиции XIX в., она была расценена как первая успешная пролетарская революция [68]. Восприятие в глобальном мире революционного марксизма заключалось в том, что он повсюду будет началом пролетарских революций. Память о русском Октябре должна была в разных частях света привести рабочий класс в действие. И поначалу это выглядело так, будто подобное может произойти с революциями в Германии, где была одна из сильнейших марксистских партий в мире, в Венгрии и Италии. Японские социалисты, пристально наблюдая за развитием событий в Европе, предсказывали, что мировая революция должна будет произойти и в их стране [71].

Когда пролетарские коммунистические революции потерпели поражение везде, кроме России, мемориальный ландшафт этой революции изменился. В каком-то смысле большевистская революция стала более мощным национальным событием, оправдывающим наращивание темпов строительства «социализма в отдельно взятой стране», по знаменитой сталинской формуле [20]. Но в глобальном мемориальном ландшафте марксистских революционеров она всегда оставалось центральным событием, обещая в конечном итоге успех и победу остальным движениям. Коммунистические истории всегда и повсюду будут ссылаться на образцовый характер большевистской революции. Она стала «матерью» всех революций XX в. [48]. Как таковая она заменила ключевое мемориальное событие для революционеров XIX в. — Парижскую коммуну, которая, хоть и продолжала оставаться важным наследием памяти, теперь чаще рассматривалась сквозь призму 1917 г. [10]. Между 1870–1890 гг. Коммуна фактически транснационализировалась. Центральное место в этом процессе занимал исторический труд «История Парижской коммуны 1871 года» (Histoire de la Commune de 1871) Проспера Оливье Лиссагарэ. Переведенный на английский язык не кем

иным, как Элеонорой Маркс, а затем и на многие другие языки, он имел решающее значение для транснационального принятия Коммуны и памяти о ней в различных частях Европы и мира. 18 марта, день, когда в Париже в 1871 г. появилось революционное правительство, стал центральным событием в международном социалистическом календаре, а Коммуна стала ключевым символом воображаемого сообщества мирового пролетариата.

На самом деле все восстания и мятежи, которые с удивительной частотой происходили в разных частях света в период между русской революцией 1905 г. и астурийской забастовкой шахтеров в Испании в 1934 г., совершались с опорой на воспоминания о революционных традициях XIX в. [8]. Именно тогда революционные движения обозначили три основных стремления: политическую свободу, национальный суверенитет и социальное равенство. В начале XX в. они переросли в три грозных десятилетия революций, которые завершились массовым кризисом либеральной демократии, фашистской реакцией и после Второй мировой войны биполярным миропорядком, в котором эти стремления остались источником конфликтов, происходивших главным образом в деколонизирующихся и развивающихся странах. Исторические науки принадлежали к числу ключевых интерпретаторов тех революционных движений и событий. Исследователи в последнее время обращаются к вопросам памяти, чтобы понять, как конкретные воспоминания о предшествующих событиях и личностях повлияли на ход общественных движений, начиная с женского движения в Индии и заканчивая экологическим движением в Германии [7].

Общественные движения, конечно, часто находились в основе революций, которые были насильственными событиями, создающими мощные мемориальные ландшафты. Они базируются в том числе и на большом количестве исторических работ, которые придали значение революциям и повлияли на более широкую память о них. Но целый ряд ненасильственных видов борьбы также породил формы культурной памяти, которые легли в основу действий общественных движений XX в. И исторические науки, уделяя внимание этой борьбе, были одними из ключевых создателей этой памяти [15]. Память о ненасильственной борьбе в Индии восходит к «Соляному походу» Ганди. Британский феминизм восстановил память о суфражистках. Если наследие общественного движения вызывает серьезные споры, то борьба памяти становится политизированной, как это видно из современных дебатов об оценке объединения независимых профсоюзов «Солидарность» в Польше. Во всех трех случаях именно история внесла важный вклад в формирование дискурсов памяти и споров о них.

Воспоминания об общественных движениях также могут умышленно уничтожаться и замалчиваться. В Западной Германии, к примеру, антикоммунизм был настолько силен в начале 1950-х гг., что память о роли коммунизма в борьбе против национал-социализма была фактически заглушена и исключена из всех официальных торжеств, посвященных сопротивлению. Ключевые историки немецкого Сопротивления, такие как Герхард Риттер или Ганс Ротфельс, не упоминали о роли коммунистов в своих трудах [2, *42*]. Память о коммунизме пришлось возродить в 1960-х гг., когда левое студенческое движение вновь проявило к нему интерес. Работы историка Ганса Моммзена повлияли на восстановление роли коммунистов в борьбе с национал-социализмом и проблематизацию героического образа консервативного Сопротивления в Западной Германии, который доминировал в общественной памяти в 1950-е гг.

Исторические науки и память о гражданских войнах: Испания и Югославия

Воспоминания о русской революции 1917 г. и о коммунизме отчетливо вырисовывались в ландшафтах памяти о гражданских войнах XX в. Гражданские войны были, конечно, глобальным явлением, но, как исследователь, специализирующийся на истории Европы, я приведу два примера с европейского континента — испанскую и югославскую гражданские войны. Обе они оставили множество спорных воспоминаний, которые были подкреплены исторической наукой. После победы франкизма в гражданской войне исторические науки внутри Испании построили историю этого противостояния как крестового похода

против международного коммунизма, сепаратистов, евреев, масонов. «Хорошая Испания» и ее основные ценности — католицизм и единство — должны были быть защищены от «злой Испании». Во франкистских дискурсах памяти прославлялось величие испанской нации, ее место определялось в ряду славной национальной (националистической) истории [66]. Но ученые, которые были изгнаны из страны, особенно те, кто оказался во Франции и Северной Америке, создали исторические нарративы, ставшие основой постфранкистского мемориального ландшафта новой испанской демократии. Так, Центр исследований при Университете По на юге Франции является хорошим примером того, как эмигрировавшие историки предоставили контрнарратив официальному испанскому дискурсу, на котором после 1976 г. можно было построить другую память о гражданской войне [13].

Однако переход мемориального ландшафта от Испании франкистской к демократической был далеко не простым. Фактически это непрерывный процесс, продолжавшийся более 40 лет после смерти Франко. Когда в июле 2018 г. социалистическое правительство Испании объявило, что прах Франко должен быть перенесен из Долины павших, фашистского мемориала, воздвигнутого в память о погибших в гражданской войне, это вызвало серьезные споры [42, 34]. Историческая наука породила различные повествования, легшие в основу как действий социалистического правительства, так и оппозиции со стороны Народной партии и других. Академическое сообщество в Испании и по сей день остается глубоко расколотым в отношении своей политики, а руководство Центральным исследовательским агентством в Испании (CISC) регулярно переходит из рук в руки, когда меняется правительство. Трудности примирения с франкистским прошлым в Испании во многом связаны с характером перехода к демократии в 1970-х гг. После окончания диктатуры Франко практически вся франкистская элита оставалась нетронутой и часто находилась у власти из-за опасений, что дополнительные меры могут привести к очередной гражданской войне. В сердце испанской академической науки, в Центральном исследовательском агентстве (CISC), бывшем при Франко оплотом правого движения Opus Dei, после перехода к демократии ничего не изменилось. Поэтому историческое сообщество никогда не подвергалось чистке, и те, кто возвращался из эмиграции после 1976 г., а также молодое поколение исследователей, которых они обучали, неуютно сосуществовали с более консервативными представителями и их учениками.

В таких условиях неудивительно, что память об антифашистской борьбе в Испании долго не могла восстановиться после переходного периода. Большинство ранних инициатив по ее восстановлению в стране исходило от низовых движений, в которых были широко представлены группы, занимающиеся «историей снизу» (history-from-below-type groups). В 1990-е гг. писатели и журналисты вышли на передний план, чтобы проблематизировать то, что многие воспринимали как забытую память об испанском республиканизме. Официальных попыток, как внутри исторической науки, так и за ее пределами, установить прочную память об антифашизме пришлось ждать чуть ли не целое поколение [77]. Не помогло и то, что в памяти о транснациональной антифашистской борьбе в Испании, то есть в истории интернациональных бригад, доминировала коммунистическая память, подкрепленная коммунистическими нарративами, которые находились в глубоком кризисе после падения коммунизма в Советском Союзе и Восточной Европе в начале 1990-х гг. [60]. Исторические науки всерьез начали закладывать основы более демократичной памяти об Испании только с начала 1990-х гг. — почти через поколение после установления демократии. Важную роль здесь сыграла, помимо прочих дисциплин, антропология, сопровождавшая процессы открытия в начале 2000-х гг. захоронений времен гражданской войны. Эксгумации послужили мощным толчком к формированию республиканской памяти и зачастую вызывали дебаты о коллективной памяти в Испании. В то время как правые политики обвиняли сторонников эксгумации в том, что они ставят под угрозу якобы существующий дух примирения, сопровождавший процесс перехода к демократии, левые постоянно искали смысл и репрезентативность этих эксгумаций. Факт, что эксгумации и перезахоронения были политизированы левыми в поисках новой коллективной памяти

об Испании, стал главной причиной конфликта между Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) и «Podemos», новой левой партией. Антропология сыграла важную роль в производстве знаний о мемориальных практиках, связанных с местами эксгумации [27].

В Боснии, как и в Испании, антропологи также принимают участие в создании смыслов вокруг открытия могил гражданской войны 1990-х гг. [43]. Исторические науки в Югославии сыграли важную роль в закладке фундамента мемориального ландшафта, который подготовил гражданскую войну задолго до ее начала. Сосредоточившись на истории своих республик, исследователи внесли вклад в формирование дискурса, который способствовал созданию национальных мемориальных ландшафтов в отдельных социалистических республиках [12]. После смерти Тито особые политические условия падения коммунизма вызвали социальную напряженность, которая могла усилиться на зарождающихся мемориальных ландшафтах, восходящих к 1980-м гг. Несколько представителей исторического сообщества обеспечили враждующие группировки во время гражданских войн в Югославии нарративами коллективной памяти, которые обосновывали требования о разъединении или, как в случае с сербами, единстве. Один из самых известных примеров — бывший президент Хорватии Франьо Туджман. Он сражался вместе с Тито во время Второй мировой войны и дослужился до генерала Югославской народной армии. Уйдя в отставку, занялся историей, возглавил Институт истории рабочего движения в Загребе, а затем конфликтовал с коммунистами и даже подвергался тюремному заключению как диссидент. В 1990 г. он опубликовал книгу, в которой предпринял попытку реабилитировать хорватское фашистское движение «Усташи». Также его труды были посвящены созданию нового главенствующего национального нарратив для Хорватии. Его исторические работы послужили основой для создания национального мемориального ландшафта, который лежал в основе позиции Хорватии в гражданской войне и в конечном итоге привел Туджмана к посту президента в новой хорватской республике [33].

Гражданские войны в Югославии оставили государствам-преемникам резко антагонистичные и националистические культуры памяти. Но югославские войны также привели в беспорядок и мемориальный ландшафт Европы. В конце концов, это противоречило одному из самых влиятельных дискурсов памяти внутри ЕС, а именно тому, что союз была гарантом мира после Второй мировой войны. Очередной вооруженный конфликт в том самом месте, где началась Первая мировая война, массовые убийства мирных жителей в Сребренице и других местах, бомбардировка Белграда со стороны НАТО — все это, казалось, противоречит одному из центральных столпов мемориального ландшафта Европейского союза. Историческая наука ответила на этот вызов переоценкой значимости национального государства и принятием европеизации в мире после окончания холодной войны [5]. Цель ЕС, сформулированная в Маастрихтском договоре 1992 г., — работать над еще более тесным политическим союзом — теперь воспринималась с большим скепсисом. При происходящих процессах глобализации и европеизации способность национального государства мобилизовать эмоции граждан вокруг проблемы национальной идентичности оказалась недооцененной [28, *100–13*]. Историческая наука раньше не воспринимала всерьез силу этих эмоций, поскольку ее представители принадлежали к транснациональной элите, дистанцировавшейся от чувства национальной принадлежности. В рамках исторической науки, как специфического сообщества памяти, можно было представить себе верховенство европейских транснациональных форм идентичности, дискредитировавших, по мнению многих представителей этого сообщества, более старые формы национальной идентичности. Гражданские войны в Югославии стали важным шагом на пути к пересмотру данных предположений.

Войны в Югославии также спровоцировали переселение беженцев в другие части Европы, что стало мощным напоминанием в конце XX в. о том, что это был век этнических чисток и миграционных перемещений. В некотором отношении история мигрантов сопровождает человечество с самых его истоков. Беженцы и мигранты часто образуют мощные сообщества памяти, тем не менее, как отмечал Жерар Нуриэль, во Франции память

о них редко попадает в основную тенденцию развития национальных культур памяти. Поэтому в своей работе для семитомного труда Пьера Нора «Места памяти» Нуриэль указал, что память о мигрантах не является частью национальной памяти [64]. Редакторы немецкого эквивалента «Мест памяти» во введении к работе также отмечают, что память мигрантов не вошла в коллективную память Германии [25, *22*]. Только в последнее время историческая наука начала содействовать интеграции памяти мигрантов и беженцев в местные, национальные и транснациональные формы коллективной памяти [29].

Кроме того, гражданские войны в Югославии также стали резким напоминанием о власти религии над дискурсами памяти: католицизм в Хорватии, православие в Сербии и ислам в Боснии и Герцеговине поспособствовали столкновению наций, которое в то же время было и столкновением религий [73]. На другом конце Европы католицизм и протестантизм подпитывали гражданскую войну, эвфемистично называемую «смутой», в Северной Ирландии, происходившую между 1969 и 1994 гг. В мирном процессе после 1994 г. историки своей работой способствовали укреплению новой коллективной памяти о примирении [54]. В XIX в. власть религии над политикой была параллельна власти религии над историческими науками, — многие историки обучались на священников или происходили из семей богословов [35]. Однако в течение XX в. профессия историка стала более светской. В католическом мире исследователи часто дистанцировались от религии и писали историю, которая скептически относилась к влиянию католической церкви. В протестантском мире историческое сообщество долгое время сохраняло своеобразный культурный протестантизм, но со временем и его представители все больше отдалялись от церкви. В связи с увеличивающимся разрывом между историческими науками и институционализированной религией история также способствовала возникновению представления о XX в. как о веке секуляризации. Несомненно, начиная с 1960-х гг. традиционные церкви потеряли влияние на общество и его моральные ориентиры, но лишь к концу XX в. историки пришли к мысли, что формы секуляризации могут быть параллельны религиозным возрождениям [32]. Уход от западноцентричной идеи истории и более глобальный взгляд на идею секуляризации усилил скептицизм. В последнюю треть XX в. феноменальный рост исламизма наблюдался во многих странах мира, например в Африке или Латинской Америке, однако в некоторых частях Азии именно католицизм и протестантизм стали движущими силами, наращивающими свои мощь и значение. А яростный консервативный протестантизм в США стал политически важным для республиканской партии с 1980-х гг. Переосмысление исторической наукой тезиса о секуляризации привело к появлению большого количества исследований, указывающих на непреходящее значение религии для общества и государства, что, в свою очередь, одновременно и проблематизировало, и укрепило коллективную память о религии во многих частях мира [46].

Память о деколонизации в годы холодной войны и исторические науки

Подъем политического ислама, который привлек внимание всего мира после иранской революции 1979 г., был также ответом на неудавшуюся деколонизацию. В течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны антиколониальная борьба, восходящая к концу XIX в., привела к созданию большого количества новых независимых национальных государств. Их правительства, в которых часто были представители антиколониальных движений, разработали дискурс и практику модернизации, которая в конечном итоге была нацелена на то, чтобы догнать и обогнать Запад. Но практически везде эти проекты потерпели неудачу, и память об этом преследовала политику данных постколониальных государств. В исламском мире призраки провалившейся модернизации укрепили политический ислам. Исторические науки на Западе начали обращать внимание на исламские движения, чтобы понять возникновение этих новых сообществ памяти, в то время как в самом исламском мире борьба между светским и религиозным крылом в академическом сообществе привела к появлению ресурсов как

для про-, так и для антиисламских сообществ памяти [16].

История деколонизации была неразрывно связана с культурами памяти об антиимпериализме и антиколониализме, а также соотносилась с попытками хотя бы частично оправдать проекты западного колониализма и империализма. Огромное влияние идей литературоведа Эдварда Саида об ориентализме в исторической науке, а также их разносторонняя критика демонстрируют силу постколониального воображения в исторических науках и, в свою очередь, их влияние на практику памяти, связанную с памятью о колониализме и империализме [55]. Чрезвычайно популярные работы историка Нила Фергюсона о Британской и Американской империях были подвергнуты критике за оправдание империализма. Попытка возродить память о восстании Мау-Мау в Кении против британского колониального правительства из критического прочтения имперских архивов вызвала много споров не только среди сообщества историков [24]. С другой стороны, имперская память о Британии, а точнее об Англии, побудила некоторых исследователей оплакивать упадок некогда великой державы. Ее современное положение промежуточного государства в Европейском союзе может быть противопоставлено, например, как это сделал историк Дэвид Старки, бывшей имперской славе и Британскому содружеству [78]. Память об этом была также мобилизована сторонниками Брексита в их успешной кампании по выходу Великобритании из ЕС в 2019 г. [30].

Но исторические науки и общественная память о колониализме и империализме были сильно взаимосвязаны не только в Британии. Память об Алжире и алжирской войне стала преследовать французскую историю, и Бенджамин Стора среди прочих своими научными трудами оказал влияние на публичные формы коммеморации алжирской войны во Франции [57]. Вновь открытая немецкими исследователями колониальная история Германии в конце XX в. активизировала общественную мемориальную культуру, которая нашла свое выражение в дебатах по возвращению человеческих останков из берлинской больницы «Шарите» в африканские страны [62].

В самом постколониальном мире предпринимались многочисленные попытки использовать исторические науки в качестве основы для мемориальных культур постнезависимого национализма и транснационализма. Так, например, Шейх Анто Диоп и Дакарская школа истории внесли свой вклад в формирование памяти об элитарной культуре Древней Африки, которую можно с гордостью представить как предшествующую и равную древним европейским высоким культурам. История трансатлантической работорговли также использовалась для формирования панафриканской исторической памяти [84]. А на индийском субконтиненте часть представителей академического сообщества тесно сблизилась с партией Конгресса и написала историю Индии, поддерживая националистическую культуру памяти, одобряя стратегии модернизации, предлагаемые партией в постнезависимый период [14]. В настоящее время Конгресс ведет настоящую войну памяти с правящей Индийской народной партией и ее сторонниками среди историков за общественную память и направление современной политики в стране. Тем временем вековая вражда между мусульманами и индуистами, уходящая корнями как в память, так и в коммуналистскую историографию, продолжает уносить жизни на индийском субконтиненте [11, *34–7*].

В дискуссиях по вопросам общественной памяти историки также часто опираются на произведения писателей или кинематографа. Так, документальный фильм Марселя Офюльса «Печаль и скорбь» (1969) вызвал огромный интерес к изучению фактов сотрудничества французского правительства с национал-социалистами во время Второй мировой войны [36]. Аналогичным образом долгое время замалчиваемая история массовых убийств и антикоммунистических репрессий в Индонезии в 1960-х гг. стала главной темой документального фильма Джошуа Оппенхаймера «Акт убийства» (2012). Картина вызвала большой исследовательский интерес к описываемым событиям со стороны исторического сообщества за пределами Индонезии. В самой же стране репрессивный политический режим не позволяет актуализировать эти события в общественном сознании или продолжает искажать их, чтобы избежать коммунистического переворота [58].

События в Индонезии в 1960-х гг. отражали глобальную тенденцию, связанную

с борьбой времен холодной войны. Антикоммунизм был важнейшим аспектом западной исторической культуры во время активной фазы противостояния в 1950-х и 1960-х гг. Точно так же антикапитализм и поддержка антиимпериалистических освободительных движений были неотъемлемой частью глобальных коммунистических исторических культур. В целом они разжигали и поддерживали многие кровавые гражданские войны в колониальных и постколониальных государствах по всему миру, одним из ужасных примеров которых была Индонезия. Однако начиная с 1960-х гг. историки на Западе все больше расходились во мнениях относительно достоинств антикоммунизма, появилось направление «анти-антикоммунизм», представители которого пытались восстановить некую трехмерность картины «коммунистического» на Западе. Они же впоследствии поддержали разрядку и культуру общественной памяти, которая стремилась преодолеть холодную войну через диалог с коммунистическими представителями. В то же время на Западе продолжалась старая антикоммунистическая традиция среди исторических наук и широкой культуры общественной памяти. В коммунистических режимах также наблюдались признаки раскола между воинствующей фракцией, цепляющейся за жесткую антикапиталистическую, антифашистскую и антиимпериалистическую мемориальную культуру и историческую интерпретацию, и реформистское коммунистическое крыло, стремящееся вступить в разговор с капиталистическим Западом [41].

Диктаторские режимы коммунизма допускали гораздо меньший плюрализм мнений, чем это было характерно для капиталистического Запада, но все же встречались исследователи, ставящие под сомнение путь коммунизма к построению социалистических обществ и достижению социального равенства и освобождения рабочего класса. Подобные сомнения при коммунизме могли легко привести к потере работы, лишению свободы, а иногда, в особо критических ситуациях, даже к гибели людей [49]. Подвергать сомнению доминирующие исторические нарративы и общественные мемориальные культуры на Западе, как правило, было менее опасно, но стремление преодолеть мировую поляризацию после холодной войны также сопровождалось там более самокритичным подходом к оценке достижений капитализма и либеральной демократии. Способность Запада допускать большее расхождение во взглядах между исторической наукой и культурами общественной памяти обеспечила капиталистическим режимам большую стабильность. А вот увеличивающийся разрыв между памятью гражданского общества и памятью государства в коммунистических режимах в конечном итоге способствовал падению коммунизма в Восточной Европе и массовому кризису режима в Китае, который был предотвращен только благодаря применению массового насилия против протестующих студентов в Пекине летом 1989 г. В целом истории деколонизации доказывают тесную взаимосвязь между исторической наукой и культурами общественной памяти.

Воспоминания о классе, расе и гендере в исторических науках эпохи деиндустриализации

До этого момента большая часть нашего обсуждения взаимосвязи исторических наук с широкой коллективной памятью была сосредоточена на национальной и транснациональной памяти, связанной с войнами, революциями и деколонизацией. Однако, обсуждая их, мы также затронули воспоминания о социальном классе. Они в значительной степени выходят на первый план, когда мы обращаемся к влиянию исторических наук на память об индустриализации и деиндустриализации. Начиная с 1960-х гг. деиндустриализация серьезно изменила промышленные регионы во многих частях мира. Она опустошила их, привела к безработице и нищете те слои населения, которые прежде были состоятельными рабочими. Это положило конец недолговечной иллюзии о том, что люди получают на всю жизнь стабильную работу на фабриках, функционирующих в соответствии с принципами Форда и Тейлора, которые казались невосприимчивыми к экономическому кризису. История заставила исследователей задуматься о значении этих процессов и способах достижения таких форм структурных изменений, которые предотвратили бы уменьшение численности

населения и опустошение целых регионов в результате деиндустриализации [37].

Во многих частях деиндустриализирующегося мира исторические науки внесли свой вклад в культуры общественной памяти, окружающие материальные и нематериальные остатки индустриального прошлого. Промышленное наследие может способствовать укреплению региональной идентичности [89], а также может стать основой идентичности классовой [75]. И это ни в коем случае не ситуация «или–или». Историческая наука помогла укрепить саморефлексивную практику памяти активистов в деиндустриализирующихся регионах. Если взять пример Рурской области в Западной Германии, то исторические науки сыграли там важную роль в поддержании городского общественного движения в 1960-е и 1970-е гг. Активисты защищали промышленное наследие региона от попыток избавиться от него сразу же после закрытия предприятий. Когда это низовое общественное движение было одобрено и воспринято корпоративной политической культурой Рура в 1980-е и 1900-е гг., мощные политические, промышленные и профсоюзные интересы обеспечили выживание целых ландшафтов индустриального наследия. Также они призвали историческую науку поддержать коммеморативные практики, которые укрепили региональную идентичность и веру в успех структурной трансформации региона из успешного индустриального в еще более успешный постиндустриальный.

Нигде в мире промышленный ландшафт прошлого не сохранился так безукоризненно, как в Рурской области; нигде больше он не опирается так сильно на динамичную историческую культуру [4]. В других местах происходили иные истории, но взаимосвязь между историческими науками и формой конкретной мемориальной культуры, окружающей индустриализацию и деиндустриализацию, остается ярко выраженной. В «ржавом поясе» Северной Америки, например, мы находим гораздо меньше поддержки сверху промышленному наследию. Вместо этого существуют многочисленные местные инициативы по сохранению ценностей рабочего класса, которым угрожает исчезновение в результате деиндустриализации [38]. В Великобритании история деиндустриализации неразрывно связана с противостоянием правительств Маргарет Тэтчер и профсоюзами, что даже вылилось в забастовку шахтеров 1984–1985 гг., которая местам напоминала гражданскую войну. Историческая наука Южного Уэльса сыграла важную роль в поддержке местных инициатив по сохранению хотя бы нескольких объектов наследия горнодобывающей промышленности и созданию мемориальной контркультуры, которая бы защищала память о жизни рабочего класса в Южном Уэльсе [3].

В посткоммунистической Восточной Европе деиндустриализация проходила в мире после холодной войны, в котором тяжелая промышленность прочно ассоциировалась с коммунистической диктатурой. В исторических науках и в широкой мемориальной культуре посткоммунистической Европы индустриальное наследие получило мало поддержки. Истории социальных классов были тесно связаны со стратегиями легитимации дискредитированных коммунистических режимов [86]. Хотя история деиндустриализации в подавляющем большинстве своем является историей глобального Севера, она не ограничивается ею. Например, во многих частях Китая была проведена деиндустриализация, в то время как в других частях страны быстро развивалась промышленность. В тех районах страны, где процессы деиндустриализации можно связать с героической памятью о коммунистическом прошлом, процветают усилия по сохранению наследия [51]. Но там, где эти воспоминания больше связаны с историей русского и японского империализма, как на северо-востоке Китая, историческая наука изо всех сил пытается стимулировать создание мемориальной культуры вокруг промышленного наследия [69]. В целом мемориальные культуры связаны с тем, какими историями об индустриализации и социально-экономических последствиях деиндустриализации можно гордиться. Здесь историческая наука играет важную роль: предоставляет истории успеха или неудачи, на которых затем могут основываться различные коммеморативные практики. Роль, которую играет класс в этих повествованиях, сильно различается в разных деиндустриализирующихся регионах мира [6].

То же самое относится и к роли расы. Повсеместно процессы индустриализации

тесно связаны с процессами миграции различных народностей. В США в XX в. миллионы чернокожих рабочих переселились с юга в промышленные центры севера, что привело к сложным расовым отношениям на фабриках и в окрестностях этих городов. Когда деиндустриализация ударила по «ржавому поясу», расовый вопрос оказался очень актуален. Исторические науки внесли свой вклад в изучение тех расовых проблем [81], которые, в свою очередь, повлияли на мемориальные практики общин чернокожих рабочих. Разумеется, память о расе и исторические науки, лежащие в ее основе, не могут ограничиваться деиндустриализацией. Изучение расы в исторической науке внесло большой вклад в культуру памяти о правозащитном движении против режима апартеида в США и Южной Африке [70, 19]. Вопросы расы также занимали центральное место в истории и войнах памяти, связанных с коренными народами в различных частях мира. Если взять пример Австралии, то исторические исследования обществ и культуры аборигенов стали активно развиваться в последние тридцать лет. Это способствовало поддержанию мемориальной культуры коренных народов Австралии, что существенно изменило культурный ландшафт страны, даже если политическая и социально-экономическая дискриминация аборигенов продолжилась [67].

Вопросы классовой и расовой принадлежности тесно связаны с гендерной проблематикой в ряде мемориальных практик, в поддержании которых историческая наука вновь важна. Это справедливо в отношении памяти об индустриализации и деиндустриализации, которая на протяжении многих десятилетий принадлежала исключительно мужчинам, особенно если мы посмотрим на типично «мужские» отрасли промышленности, такие как горнодобывающая и сталелитейная [18]. Однако за последние десятилетия историки, специализирующиеся на женской и гендерной проблематике, предоставили обширную информацию о гендерных аспектах трудовой деятельности и социальных отношений в общинах, а также о том, какую роль женщины играли в этих обществах. Подобные исследования повлияли на практику публичных коммеморациий во многих бывших промышленных регионах [83].

И если мы посмотрим на женское движение, то обнаружим между его культурой памяти и историческими науками тесную связь. Исследовательницы, пишущие женскую историю, также способствовали увековечиванию памяти о борьбе женщин за права и эмансипацию. Коллективная память о суфражистках в Великобритании, например, тесно связана с историческими науками, которые способствуют формированию прочных знаний о движении [15]. Женщины и гендерные исследователи часто выступают в защиту памяти. Например, британский социолог и феминистка Шейла Роуботэм была одновременно видным историком трансатлантического англоязычного женского движения и фемактивисткой, борющейся за женские права. Будучи социалисткой и участницей кампании за ядерное разоружение, она является типичным примером мультиактивистки, участвовавшей в различных прогрессивных общественных движениях, основанных на знаниях, полученных из исторической науки [91].

Вывод

На протяжении всего XX в. мы отслеживали активизацию исторической науки в самых разных областях всего мира. Поскольку она была глубоко национализирована в XIX в., неудивительно, что ее влияние на память в значительной мере связано с национальной памятью. Особое значение в рамках национальной коллективной памяти часто имеют войны, гражданские войны и революции, и мы привели целый ряд примеров того, что исторические знания лежат в основе культуры общественной памяти, связанной с этими событиями. Однако с 1980-х гг. исторические науки стали гораздо менее ориентированными на национальные рамки, и последующее обращение к транснациональным темам также оказало значительное влияние на формирование мемориальных ландшафтов [21, *1*]. Например, история деиндустриализации смогла поддержать индустриальное наследие и практики сохранения памяти о самих процессах деиндустриализации. Истории расы, пола и религии поддерживают определенные формы общественной памяти в социальных движениях, которые связаны с этими проблемами. Они могут иметь

национальную направленность, демонстрируя сохранение культуры национальной памяти даже в эпоху, когда исторические науки все больше отходят от этих рамок, или могут быть преднамеренно транснациональными по своей направленности. В целом, как призвана показать эта краткая статья, исторические науки сыграли решающую роль в формировании памяти о ключевых событиях XX в. во многих частях мира. Еще многое предстоит сделать, чтобы пролить свет на важность производства исторических знаний для конкретных культур памяти. В частности, взаимодействие с другими активистами памяти из сферы политики, культуры, науки, средств массовой информации; в предстоящие годы стоит еще тщательнее изучить вопрос о взаимосвязи всех дисциплин между собой [56].

Перевод с английского языка
Д. А. Аникина

References

1. Assmann, A., Conrad, S., eds. (2010). *Memory in a Global Age: Discourses, Practices and Trajectories.* Basingstoke: Palgrave MacMillan.
2. Berger, S. (2003). *The Search for Normality: National Identity and Historical Consciousness in Germany since 1800.* Oxford: Berghahn Books, 2nd rev. edn.
3. Berger, S. (2008). "Von 'Landschaften des Geistes' zu 'Geisterlandschaften': Identitätsbildungen und der Umgang mit dem industriekulturellen Erbe im südwalisischen Kohlerevier". *Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen, 39,* 49–66.
4. Berger, S. (2019). "Industrial Heritage and the Ambiguities of Nostalgia for an Industrial Past in the Ruhr Valley in Germany". *Labor,* 16 (1): 37–64.
5. Berger, S., Conrad, C. (2015). *The Past as History: National Identity and Historical Consciousness in Modern Europe.* Basingstoke: Palgrave MacMillan.
6. Berger, S., Pickering, P. (2018). "Regions of heavy industry and their heritage — between identity politics and 'touristification': where to next?". In Christian Wicke, Stefan Berger and Jana Golombek (eds.), *Regional Identity and Industrial Heritage*, 214–35. London: Routledge.
7. Berger, S., Scalmer, S., Wicke, C. (2019). *History, Memory and Social Movements.* Basingstoke: Palgrave MacMillan.
8. Berger, S., Weinhauer, K. (2020). "Making sense of a Period of Global Revolutions, 1905–1934". *Special issue of the International Review of Social History*.
9. Berger, T. U. (2012). *War, Guilt, and World Politics after World War II.* Cambridge: Cambridge University Press.
10. Bos, D. (2014). *Bloed en Barricaden. De Parijse Commune Herdacht.* Amsterdam: Wereldbibliotheek.
11. Brass, P. R. (2003). *The Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India.* Seattle: University of Washington Press.
12. Brunnbauer, U. (2004). *(Re-)Writing History. Historiography in South-East Europe After Socialism.* Münster: Lit.
13. Caussimont, G. (1980). "Diez años del 'Centre de Recherches Hispaniques' de la Universidad de Pau". In Manuel Tuñón de Lara et al. (eds.), *Historiografia Española contemporánea*, 3–43. Madrid: Siglo XXI.
14. Chandra, B. (1986). "Nationalist Historians' Interpretations of the Indian National Movement". In Sabyasachi Bhattacharya and Romila Thapar (eds.). *Situating Indian History.* Delhi: Oxford University Press.
15. Chidgey, R. (2015). "'A Modest Reminder': Performing Suffragette Memory in a British Feminist Webzine". In Anna Reading and Tamar Katriel (eds.), *Cultural Memories of Non-Violent Struggles. Powerful Times*, 52–70. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
16. Choueiri, Y. M. (2003). *Modern Arab Historiography: Historical Discourse and the Nation State*. London: Routledge.
17. Clark, C. (2012). *The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914.* London: Penguin.
18. Clarke, J. (2015). "Closing Time: Deindustrialization and Nostalgia in Contemporary France". *History Workshop Journal,* 79 (1): 107–25.
19. Coombes, A. E. (2003). *History after Apartheid: Visual Culture and Public Memory in a Democratic South Africa.* Durham: Duke University Press.
20. Corney, F. C. (2004). *Telling October: Memory and the Making of the Bolshevik Revolution.* Ithaca: Cornell University Press.
21. De Cesari, C. Rigney, A., eds. (2014). *Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales.* Berlin: de Gruyter.
22. Deneckere, G., Welskopp, T. (2008). "The 'nation' and 'class': European national master-narratives and their social 'other'". In Stefan Berger and Chris Lorenz (eds.), *The Contested Nation: Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories*, 135–70. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
23. Echternkamp, J., Martens, S. (2010). *Experience and Memory: the Second World War in Europe.* Oxford: Berghahn Books.
24. Elkins, C. (2005). *Imperial Reckoning: the Untold Story of Britain's Gulag in Kenya.* New York: Henry Holt.
25. François, E., Schulze, H. (2001). "Einleitung". In François E., Schulze H. (eds.), *Deutsche Erinnerungsorte*, 9–24, vol. 1. Munich: C. H. Beck.
26. Evans, R. J. (2014). "Michael Gove Shows His Ignorance of History–Again". The Guardian, 6 Jan., https://www.theguardian.com/books/2014/jan/06/richard-evans-michael-gove-history-education (mode of access: 21.08.2018).
27. Ferrándiz, F. (2017). "Afterlife: a Social Autopsy of Mass Grave Exhumations in Spain". In Ofelia Ferrán and Lisa Hilbing (eds.), *Legacies of Violence in Contemporary Spain: Exhuming the Past, Understanding the Present*, 23–43. London: Routledge.
28. Gerrits, A. (2016). *Nationalism in Europe since 1945.* Basingstoke: Palgrave MacMillan.

29. Glynn, I., Kleist, J. O., eds. (2012). *History, Memory and Migration. Perceptions of the Past and the Politics of Incorporation.* Basingstoke: Palgrave MacMillan.

30. Gust, O. (2016). "The Brexit Syllabus: British History for Brexiteers". *History Workshop*, 5 September, http://www.historyworkshop.org.uk/the-brexit-syllabus-british-history-for-brexiteers/ (mode of access: 29.08.2018).

31. Halbwachs, M. (1925). *Les Cadres Sociaux de la Mémoire*. Paris: Presses Universitaires de France.

32. Hartney, C., eds. (2014). *Secularisation: New Historical Perspectives.* Cambridge: Cambridge Scholars.

33. Hayden, R. (1994). "Recounting the Dead. The Rediscovery and Redefinition of Wartime Massacres in Late and Post-Communist Yugoslavia". In Rubie S. Watson (ed.), *Memory, History and Opposition under State Socialism*, 167–85. Santa Fe/New Mexico: School of American Research Press.

34. Hepworth, A. (2016). "Site of Memory and Dismemory: the Valley of the Fallen in Spain". In Simone Gigliotti (ed.), *The Memorialization of Genocide*, 463–85. London: Routledge.

35. Hermann, I., Metzger, F. (2012). "A Truculent Revenge: the Clergy and the Writing of National History". In Ilaria Porciani and Jo Tollebeek (eds.), *Setting the Standards: Institutions, Networks and Communities of National Historiography*, 313–29. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

36. Hewitt, L. D. (2008). *Remembering the Occupation in French Film: National Identity in Post-War Europe.* Basingstoke: Palgrave MacMillan.

37. High, S. (2003). *Industrial Sunset: the Making of North America's Rustbelt, 1969–1984*. Toronto: University of Toronto Press.

38. High, S., MacKinnon, L., Perchard, A. (eds.) (2017). *The Deindustrialised World: Confronting Ruination in Postindustrial Places.* Vancouver: UBC Press.

39. Hobsbawm, E. J. (1994). *The Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914–1991.* London: Penguin.

40. Herwig, H. H. (2003). "German". In Richard F. Hamilton and Holger H. Herwig (eds.), *The Origins of World War I*, 150–87. Cambridge: Cambridge University Press.

41. Jarausch, K., Osterman, C. F., Etges, A. (eds.) (2017). *The Cold War: Historiography, Memory, Representation.* Berlin: de Gruyter.

42. Jones, S. (2018). "Franco's Family Fights PM over Removal of Dictator's Remains". The Guardian, 20 July, https://www.theguardian.com/world/2018/jul/20/franco-family-refuses-facilitate-removal-dictator-spain (mode of access: 29.08.2018).

43. Jugo, A., Wagner, S. E. (2017). "Memory Politics and Forensic Practices: Exhuming Bosnia Herzegovina's Missing Persons". In Z. Dziuban (ed.), *Mapping the 'Forensic Turn': Engagement with Materialities of Mass Death in Holocaust Studies and Beyond*, 195–213. Vienna: New Academic Press.

44. Kansteiner, W. (2004). "Postmoderner Historismus: das kulturelle Gedächtnis als neues Paradigma der Kulturwissenschaften". In Friedrich Jäger und Jürgen Straub (eds.), *Handbuch der Kulturwissenschaften, Band 2: Paradigmen und Disziplinen*, 119–39. Stuttgart: Metzler.

45. Kansteiner, W. (2006). "Loosing the War, Winning the Memory Battle: The Legacy of Nazism, World War II and the Holocaust in the Federal Republic of Germany". In Richard Ned Lebow, Wulf Kansteiner and Claudio Fogu (eds.), *The Politics of Memory in Post-War Europe*, 102–46. Durham: Duke University Press.

46. Kaschuba, W. (2010). "Iconic Remembering and Religious Icons: Fundamentalist Strategies in European Memory Politics". In Małgorzata Pakier and Bo Stråth (eds.), *A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance*, 64–78. Oxford: Berghahn Books.

47. Kim, M. (2015). *Routledge Handbook of Memory and Reconciliation in East Asia.* London: Routledge.

48. Klymenko, O. (2018). "Constructing Memoirs of the October Revolution in the 1920s". In Agnieszka Mrozik and Stanislav Holubec (eds.), *Historical Memory of Central and East European Communism*, 260–73. London: Routledge.

49. Kovács, F. K., Labov, J. (eds.) (2012). *From Samizdat to Tamizdat: Transnational Media During and After Socialism.* Oxford: Berghahn Books.

50. Lagrou, P. (2000). *The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in Western Europe 1945–1965.* Cambridge: Cambridge University Press.

51. Lam, T. (2019). "Ruins for Politics: Selling Industrial Heritage in Postsocialist China's Rustbelt". In Stefan Berger (ed.), *Constructing Industrial Pasts. Industrial Heritage-Making in Britain, the West and Post-Socialist Countries*, 251–69. Oxford: Berghahn Books.

52. Levy, D., Sznaider, N. (2006). *The Holocaust and Memory in the Global Age.* Philadelphia: Temple University Press.

53. Lorenz, C. (2008). "Drawing the Line: 'Scientific History' Between Myth-Making and Myth-Breaking". In Stefan Berger, Linas Eriksonas and Andrew Mycock (eds.), *Narrating the Nation: Representations in History, Media and the Arts*, 35–55. Oxford: Berghahn Books.

54. Madigan, E. (2018). "Between the Poppy and the Lillya. A Century of Conflicted Irish Commemoration," paper presented at the conference *'To End all Wars? Geopolitical Aftermath and Commemorative Legacies of the First World War'*, Ypres, 22–25, August 2018.

55. Majumdar, R. (2011). *Writing Postcolonial History.* London: Bloomsbury.

56. May, V. M. (2015). *Pursuing Intersectionality, Unsettling Dominant Imaginaries.* London: Routledge.

57. McCormack, J. (2007). *Collective Memory: France and the Algerian War (1954 — 1962).* Lanham: Lexington Books.

58. McGregor, K., Melvin, J., Pohlman, A. (eds.) (2018). *The Indonesian Genocide of 1964: Causes, Dynamics and Legacies.* Basingstoke: Palgrave MacMillan.

59. Mombauer, A. (2002). *The Origins of the First World War: Controversies and Consensus.* Harlow: Pearson.

60. Morgan, K. (2010). "Neither Help Nor Pardon? Communist Pasts in Western Europe". In Małgorzata Pakier and Bo Stråth (eds.), *A European Memory? Contested Histories and the Politics of Remembrance*, 260–74. Oxford: Berghahn Books.

61. Moses, J. A. (1975). *The Politics of Illusion. The Fischer Controversy in German Historiography.* Sydney: Prior.

62. Mühlhahn, K., ed. (2017). *The Cultural Legacy of German Colonial Rule.* Berlin: de Gruyter.
63. Neier, A. (2012). *The International Human Rights Movement. A History.* Princeton: Princeton University Press.
64. Noiriel, G. (1996). "French and Foreigners". In Pierre Nora (ed.), *Realms of Memory, vol. 1: Conflicts and Divisions*, 145–78. New York: Columbia University Press.
65. Nora, P. (1984–1992). *Les Lieux de Mémoire:* 7 vols. Paris: Éditions Gallimard.
66. Pasamar, G. (2010). *Apologia and Criticism: Historians and the History of Spain*. Berne: Peter Lang.
67. Peters-Little, F., Curthoys, A., Docker, J. (eds.) (2010). *Passionate Histories. Myth, Memory and Indigenous Australia.* Canberra: ANU Press.
68. Pons, S. (2014). *The Global Revolution. The History of International Communism 1917–1991.* Oxford: Oxford University Press.
69. Qu, X., Zhao, X. (2019). "The Heritage of the Chinese Eastern Railway: Symbol of Colonization and International Cooperation". In Stefan Berger (ed.), *Constructing Industrial Pasts: Industrial Heritage-Making in Britain, the West and Post-Socialist Countries*, 270–87. Oxford: Berghahn Books.
70. Romano, R. C., Raiford, L., eds. (2006). *The Civil Rights Movement in American Memory.* Athens: University of Georgia Press.
71. Schmidt, J. (2013). "'Im Westen… Neues?' Deutsche Revolution und Arbeiterbewegung als Faktor in Ostasien am Beispiel Japans (1918–1920)". In Karl-Christian Führer, Jürgen Mittag, Axel Schildt and Klaus Tenfelde (eds.), *Revolution und Arbeiterbewegung in Deutschland 1918–1920*, 375–400. Essen: Klartext.
72. Seaton, P. A. (2007). *Japan's Contested War Memories: the 'Memory Rifts' in Historical Consciousness of World War II.* London: Routledge.
73. Sells, M. A. (1996). *The Bridge Betrayed: Religion and Genocide in Bosnia.* Berkeley: University of California Press.
74. Sierp, A. (2014). *History, Memory and Trans-European Identity: Unifying Divisions.* London: Routledge.
75. Smith, L., Shackel, P. A., Campbell, G., eds. (2011). *Heritage, Labor and the Working Classes.* London: Routledge.
76. Antohi, S, Trencsényi B., Apor P. (2007). *Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe.* Budapest: Central European University Press.
77. Soro, J. M. (2016). "In Search of a Lost Narrative: Antifascism and Democracy in Present-Day Spain". In Hugo García, Mercedes Yusta, Xavier Tabet and Cristina Clímaco (eds.), *Rethinking Antifascism: History, Memory and Political Uses, 1922 to the Present*, 276–99. Oxford: Berghahn Books.
78. Starkey, D. (2001). "The English Historians' Role and the Place of History in English National Life". *The Historian*, 71: 6–15.
79. Stelzel, P. (2019). *History after Hitler: a Transatlantic Experience.* Philadelphia: The University of Pennsylvania Press.
80. Stern, F. (2006). *Five Germanies I Have Known.* New York: Farrar, Straus and Giroux.
81. Sugrue, T. (1996). *The Origins of the Urban Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit.* Princeton: Princeton University Press.
82. Sumartojo, S., Wellings, B., eds. (2014). *Nation, Memory and Great War Commemoration: Mobilizing the Past in Europe, Australia and New Zealand.* Berne: Peter Lang.
83. Tamboukou, M. (2016). *Gendering the Memory of Work: Women Workers' Narratives.* London: Routledge.
84. Thioub, I. (2007). "Writing National and Transnational History in Africa: the Example of the Dakar School". In Stefan Berger (ed.), *Writing the Nation: a Global Perspective*, 197–212. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
85. Uhl, H. (1997). "The Politics of Memory: Austria's Perception of the Second World War and the National Socialist Period". In Günther Bischof and Anton Pelinka (eds.), *Austrian Historical Memory and National Identity*, 64–94. London: Taylor & Francis.
86. Valuch, T. (2019). "'A Special Kind of Cultural Heritage: the Remembrance of Workers' Lives in Contemporary Hungary — a Case Study of Ózd'". In Stefan Berger (ed.), *Constructing Industrial Pasts: Industrial Heritage-Making in Britain, the West and Post-Socialist Countries*, 242–50. Oxford: Berghahn Books.
87. Wagstaff, M. (2012). "Critiquing the Stranger, Inventing Europe: Integration and the Fascist Legacy". In Eric Langenbacher, Bill Niven and Ruth Witlinger (eds.), *Dynamics of Memory and Identity in Contemporary Europe*, 102–19. Oxford: Berghahn Books.
88. Wellings, B., Gifford, C. (2018). The Past in English Euroscepticism. In Stefan Berger and Caner Tekin (eds.), 88–105, *History and Belonging. Representations of the Past in Contemporary European Politics.* Oxford: Berghahn Books.
89. Wicke, C., Berger, S., Golombek, J., eds. (2018). *Industrial Heritage and Regional Identity.* London: Routledge.
90. Wilson, K., ed. (1996). *Forging the Collective Memory: Government and International Historians through Two World Wars.* Oxford: Berghahn Books.
91. Winslow, B., Kaplan, T., Palmer, B. S. (1995). "Women's Revolutions: the Work of Sheila Rowbotham — a Twenty-Year Assessment", *Radical History Review,* 63: 141–65.
92. Wood, N. (1999). *Vectors of Memory: Legacies of Trauma in Post-War Europe.* London: Bloomsbury.
93. Yang, D., Mochizuki, M., eds. (2018). *Memory, Identity and Commemorations of World War II: Anniversary Politics in Asia Pacific.* Lanham: Lexington Books.
94. Yoshida, T. (2006). *The Making of the 'Rape of Nanking': History and Memory in Japan, China and the United States.* Oxford: Oxford University Press.
95. Ziino, B., ed. (2015). *Remembering the First World War.* London: Routledge.

Сведения об авторе

Бергер Штефан, PhD, директор Института социальных движений, Рурский университет в Бохуме, Бохум, Германия

Information about the author

Stefan Berger, PhD, Director of Institute for Social Movements, Ruhr University Bochum, Bochum, Germany